

ПИНЕЖСКИЙ МАТЕРИК

Федор АБРАМОВ.



Вот уже два с лишним десятка лет на литературной карте нашей страны существует этот материк — северный пинежский край, открытый для нас, читателей, прозой Федора Абрамова, засланный его героями.

Освоение своего материка писатель начал задолго до того, как появился его первый роман — «Братья и сестры». На дальних подступах к нему восставал он против «лейзанских пасторалей» и «пастушеских идиллий», беспечные создатели которых в трудные послевоенные годы словно бы соревновались «между собой — кто легче и бездоказательнее изобразит переход колхоза от неполного благополучия к полному процветанию». И истово убежденный, что «только правда — прямая и нелицеприятная» — может и должна быть «главным мерилем ценности» художественного произведения, показателем его реалистической зрелости, призывал идти в глубь хозяйственных проблем, обретая «самостоятельные наблюдения» и извлекать «самостоятельные выводы», «трезво оценивать жизнь, взглянув на нее глазами самих тружеников»...

С цитируемой статьи «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», написанной в 1954 году Ф. Абрамовым-критиком, начинался Ф. Абрамов-писатель. Не утаю: не без внутренней опаски перечитывал я сейчас эту давнюю статью. Четверть века — рискованный срок, жестокого испытания им не выдержало столько книг, о которых думалось прежде, что они — на всю жизнь. А тут не роман, не повесть — всего лишь статья, запавшая в память с далеких времен студенчества.

Но не зря, видать, будоражила она тогда, при первом чтении. Ее беспокойная мысль и сейчас не оставляет безучастным, хотя то, что звучало в статье дерзким вызовом «пасторальному романтизму», сегодня стало естественным состоянием литературы. Давно заросли пестрым луговым разнотравьем те «тихие заводи», где не было «никаких страстей, никаких столкновений», — и помнит о них забыли нынешние поколения читателей. Но ведь к этому и звала статья, это ведь и предчувствовалась, опережая время!..

Стало быть, она — дорогая реликвия литературной истории? Не только. В перспективе последующих десятилетий, которые принесли нам открытие писательского таланта Федора Абрамова, она воспринимается сверх всего его собственным манифестом, неизменной программой, выстраданной и осознанной еще в самом начале пути и подтвержденной затем всем творчеством. Разве не ее отзвуки, как раскаты грома после грозы, слышны сегодня в нескрываемой пристрастных раздумьях о судьбе «русского поля», которыми проникнута речь Ф. Абрамова на последнем писательском съезде? «...Все в конечном счете, — убежденно говорил он, — зависит от того, какой человек будет работать и управлять землей». И «нельзя заново возделывать русское поле, не возделывая души человеческие, не мобилизуя всех духовных ресурсов народа, нации»...

Поистине: неотступный «вопрос вопросов всего нашего бытия», к бескомпромиссным ответам на который всегда настойчиво звал Федор Абрамов, безбоязненно погружаясь в повседневные деревенских трудов и забот «о хлебе насущном и хлебе духовном». Но обратим внимание, каким не только острым, но каждый раз новым содержанием, чутко и зорко угаданным в народной жизни, наполняется он в романах «пряслинского» цикла, в повестях и рассказах писателя.

«Ничего, ничего, Миша. Все пройдет, пройдет это... А как кончится война — вот заживем...»

Дома выстроим новые, в каждом доме корова, овцы будут... и хлеба — сколько хошь хлеба. А на работу-то как на праздник выходить станем», — обнадеживала Анфиса не по годам посуровевшего Михаила Пряслина в романе «Братья и сестры». И беспощадно казнила себя в романе «Пути-перепутья», увидев, какой прекраснородушной оказалась ее святая вера в послевоенное безоблачное и изобильное житье-бытье. «...Правильно она сказала. Накормить людей досьята — это всем задачам задача. Посмотри ведь, что у нас делается... Четыре года войны... да шесть после войны... Итого десять лет. Десять лет у людей на уме один кусок хлеба...» — ведет свои «непривычные речи» Подрезов, отзываясь на крутые слова бывшей председательши...

«И вот — опять он один на один со своей бедой. Мокнет в валках горох на поле, гниет seno на лугах...» — те же вроде бы заботы гложут колхозного председателя в повести «Вокруг да около», но и не совсем те же. И на семнадцатом году после войны берет он с бою каждый пуд хлеба. Но в то же время видит, как на глазах оправилась Богатка, обновилась, забелела новыми крышами. «И все-таки, как ни крути, ...а от одного вопроса не уйдешь. На какие достатки строится деревня? За счет доходов, полученных в колхозе? В том-то и беда, что нет. Кто пострадал за эти годы? Те, у кого есть денежная подмога со стороны... В деревне сейчас принято: если ты в колхозе работаешь, то жену подыскивай из служащих, так, чтобы в доме всегда была копейка». Все еще не в силах обезбесить ее колхоз, и нет пока председателю выхода из заколдованного круга: «Чтобы сделать полноценным трудодень, надо, чтобы работали люди, — какой же другой источник у колхоза? А чтобы работали люди, надо, чтобы был полноценным трудодень».

Повесть «Вокруг да около» писалась в 1963 году и полнозвучно выражала острую критическую реакцию литературы на волюнтаризм и администрирование, подрывавшие колхозное производство. Оттого так много места занимал з ней трезвый экономический расчет (как не вспомнить «Районные будни» В. Овечкина — переключка с ними несомненна), охвативший сферы коллективного и личного хозяйства, колхозного и семейного бюджета, смело вторгавшийся в трудные вопросы организации посевных или уборочных работ, нормирования и стимулирования труда. Каждая выкладка, деловая и конкретная, указывала на самые болевые точки, будь то кулузная кампания «чуть ли не

под самым Полярным кругом» или прорехи в системе оплаты труда, нацеленной на ущемление «частного сектора», но в первую очередь причинявшей прямой ущерб государству. Обо всем этом раздумывал председатель, устало шагая обочинной улицы после того, как обошел почти треть деревни, побывал чуть ли не в каждом доме».

Проникаясь, однако, его «невеселыми думами», мы рисковали бы упростить, обеднить художественный смысл повести, если б свели его лишь к поискам эффективных экономических решений. Под внешним, видимым слоем содержания сокрыты глубинные залежи и пласты, к которым ведет напряженная мысль писателя о доверии к разуму крестьянина, его трудовому опыту, хозяйской сметке. Не случайно кульминацией сюжетного действия в равной мере становятся и притча о совести, в ответ на председательскую остротку («Раз совести нету, найдем меры»), рассказанная деревенским мудрецом, и хмельные выкрики лучшего колхозного плотника-бригадира в защиту своего человеческого достоинства: «Почему у меня нет паспорта? Не личность я, значит, да?»...

Время разрешило многие из тех проблем, которые так мужественно, бескомпромиссно поднимал Федор Абрамов. Но повесть не ушла вместе с ними, не забылась. Было в ней нечто большее, чем только неопровержимое свидетельство отошедшей эпохи, ее экономических трудностей и хозяйственных неурядиц. Прозвучавший в ней призыв «драться за правду» воспринимался не сиюминутным лозунгом переживаемого момента, но выражал ведущий пафос художественного постижения социальных и нравственных основ деревенской жизни, духовных начал человеческого бытия. От «Вокруг да около» тянется поэтому неразрывная нить и к последующим повестям — «Пелагея» и «Алька», и к недавнему роману «Дом».

«Кончилось ее времечко... Давно люди набрали хлебом брюхо», — сдерживает свою неприязнь и скрывает растерянность перед сегодняшней жизнью Пелагея, И как продолжение этих раздумий о переменах в деревне возникает проходная, казалось бы, реплика в повести «Алька»: «Для души твердого берега ищут...». Свой берег и Пелагея искала, как бы ни сокрушала ее напрочь

пекарня, как бы ни иссушала не только лицо, но и душу жарким пламенем в раскаленной печи. Что, как не затененный прорыв к духовности, ее горделивая, бескорыстная радость, «когда хлеб удавался»? Не просто «добреда и улыбалась» тогда Пелагея, хотя на ногах не могла стоять от усталости, но и «ораторствовала — любила поговорить: «Да у меня самая главная должность на земле, ежели на то пошло. Да я хлеб пеку, я сама жизнь делаю...»

Прочный, надежный берег своей взбаламученной душе ищет и Алка, хоть и живет вразброс, сама того не сознавая. Найдется ли? Как знать... В память о матери тропка осталась, которой ходила она от дома к пекарне и от пекарни к дому все восемнадцать лет — «и одного дня не отдыхала». Так и прозвали в деревне ту тропку «Паладыной межой» — из-за одного этого никто не отважится бросить в Пелагею камень, укорить высокомерно за сундуки с добром, куда не ситец, не шелк складывались, а «сытые дни про запас». А Алка — какую тропку-межу, какой след по себе оставит она на земле и в людской памяти? Вдруг да один лишь цветной дождь открыток «с диковинными, нездешними картинками»!

Воистину не хлебом единым жив человек. Насущным и вместе с тем духовным хлебом впрямо занята тревожная мысль писателя в романе «Дом», продолжающем «пряслинский» цикл. Не только и не просто о новом доме, где живет сейчас Михаил Пряслин, идет здесь речь, но о том главном Доме, который каждый «человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Крепче всех кирпичей и алмазов. Беспокорные раздумья о таком Доме — как оголенный болевой нерв, прикосновение к которому подобно удару током высокого напряжения...

Двадцать лет разделяют первый и последний романы Федора Абрамова, если брать время их написания. И три десятилетия охвачены временем действия всего цикла повествований о Пекашине, прошедшем через лихолетье войны, выстоявшем в горемычные послевоенные годы, принявшем в себя нынешние перемены с их новыми радостями и печальями, волнениями и заботами. Все многотрудные пути и перепутья русской деревни воплощены, таким образом, в судьбах героев пекашинской летописи,

си, передавшей в смене крестьянских поколений движение народной жизни. Ее большими историческими масштабами и поверяется в конечном счете творческий мир писателя.

Но столь же эпичны по своему существу и духовные, нравственные масштабы этого мира. Они под стать той неизбывной, невиданного размаха силе, которая «перед лицом... неслыханных мук и страданий» двигала людьми, сроднив их, как «сестер и братьев». «Она, эта сила, поднимала с лежанок дряхлых стариков и старух, заставляла женщин от зари до зари надрываться на лугу. Она, эта сила, делала подростков мужчинами, заглашала голодный крик ребенка...» Чем, как не ею, возрождена Анфиса, вырвана из «черного омута» незадавшейся поначалу жизни («Братья и сестры»? Что, как не она, «не только звоей кротостью и великим терпением, но и своей твердостью» наполняет «кременный характер» Василисы Мелентьевны, безвестной, но великой в деснях старой крестьянки «из северной лесной глухомани» («Деревянные кони»? Такой именно силой народной жизнестойкости каждый по-своему, но всегда неизменно дороги нам Михаил и Лиза Пряслины, Лукашин, многие другие герои писателя, выше всех законов признающие законы собственной совести. Согретая этой неистребимой силой, оттаивает звероватая, нелюдимая душа неприкаянного подростка («Безотцовщина»). И даже на Пелагею лежит ее яркий отсвет, вплотную приближенный крупными дробинами писательского слова.

Сколько лет прошло после встречи и прощания с пекарихой, а никак не забудется «во все правое плечо мозоль. Затвердела, задубела, как, скажи, кость»...

Прозу Федора Абрамова привычно относил к «деревенской». Как бы ни сетовали мы подчас на неточность такого определения, его можно принять за неимением лучшего, оговорившись, что отнюдь не только на тематическую прописку писательского творчества указывает оно, но и на ряд идейно-эстетических принципов, которые в современных художественных исканиях имеют типологически общее значение. Раньше и прежде всего назовем среди них нескрываемую приверженность давним и стойким традициям эпического повествования, программно, а порою и полемично противопоставляемым преходящим поветриям капризной моды на самоцельные формальные изыски. Эти традиции уходят своими корнями в глубинную толщу русской классики, прочно опираются на социально-аналитическое начало реализма. Не потому ли так энергично осуждал Федор Абрамов в речи на съезде проявившиеся в ряде произведений о деревне мелкотемье и самоудовлетворительный бытовизм, самопсевдонаторности и пейзажизма, боязнь больших обобщающих мыслей и робость перед анализом социально-исторических процессов? Его собственное творчество — едва ли не самый весомый аргумент в пользу художественного достоинства «деревенской прозы», чьим лучшим, вершинным достижениям принципиально чуждо то «скользкое, как налим», «удивительно-милотное направление», которое в живописании русской деревни не шло дальше бездумной идеализации «непечатых углов смиренного мудрия и целомудрия» (Глеб Успенский). Не существует таких идиллических, райских углов на пинежском материке Федора Абрамова. На необъятном материке той именно «большой жизни», которой грешил в романе «Две зимы и три лета» Михаил Пряслин, не ведавший еще, что, истинная, а не показная, она шумит не где-то за тридевять земель от Пекашина, а здесь, рядом, в мутные северные рассветы, посреди снежных суметов вровень с окошками...

Книжная графика



Из иллюстраций художника В. КАРАСЕВА к двухтомнику Ф. Абрамова «Избранное», «Известия».

